

## Константин Симонов: исповедь поколения

Любимец Сталина, Герой социалистического труда, Ленинской премии (1974), шести Сталинских (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950), трех орденов Ленина и большого количества медалей, полковник, главный редактор "Нового мира", потом "Литературной газеты". Человек, так радикально обласканный властями, активно участвовавший в кампаниях против "безродных космополитов", Зощенко и Ахматовой, Пастернака, Солженицына и Сахарова (1973, за 6 лет до кончины) – человек, которому, казалось бы, в жизни удалось все. Конец семидесятых, благостный застой, кремлевские старцы. И вот за полгода до своей смерти (август 1979) этот баловень советской судьбы пишет проникновенную, самокритичную исповедь "Глазами человека моего поколения", в которой попытался понять причины, внутренние психологические факторы, сформировавшие нашу трагичную и славную историю 30-50 гг.

Итак, социально-психологический диагноз поколения, даваемого Симоновым. Центральной фигурой здесь был, бесспорно, И. Сталин: и кровавый диктатор, но также и идеалист-фанатик, аскет власти. Две темы стоят в смысловом эпицентре его "поколенческой исповеди": "Сталин глазами человека моего поколения", которая неотделима от еще более внутренне трудной темы: "ты сам своими собственными глазами много лет спустя".

Много внимания Симонов уделяет анализу причин, которые сформировали принятие культа личности. Ясно, что одним репрессивным аппаратом власть не удержишь.

Во-первых, это *массовая индоктринация*: "Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? – спрашивает себя Симонов, и отвечает, - А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем".

Во-вторых, *удачный медийный образ*: "В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – это мы иногда видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии".

В-третьих, *эксплуатировавшаяся людская склонность к аффилиации – переносе лучшего на символы единения*: "В итоге Сталин был все это вкуче: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства".

Наконец, в-четвертых: *общечеловеческая склонность к нормализации, опривычиванию всего, даже самого экстраординарного*: "Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас невероятным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным".

Подходить же к критическому отношению к деятельности Сталина Симонов стал тогда, когда решил написать роман о войне и начинать его первыми днями войны. Первую часть романа "Живые и мертвые", которая потом не вошла в него по чисто конструктивным и художественным причинам, он писал в конце декабря пятьдесят пятого года, весь январь и начало февраля пятьдесят шестого года. Это было до XX съезда, накануне его, еще не было ни речи Хрущева, ни всего, что за ней последовало.

Симонов многократно общался со Сталиным, особенно участвуя в совещаниях по организационно-художественным вопросам, особенно по присуждению сталинских премий, где имел возможность увидеть, запомнить, а затем проанализировать особенности его личности, мышления и стиля управления.

Тоталитарный тип вождя, к которому принадлежал Сталин подразумевал внутреннюю органичную потребность в тотальном контроле и программирование развития всего режима (собственно, подобные же черты проявляли и Гитлер, и Муссолини). Тотальный контроль распространялся и на литературу, и на музыку, и на театр, и на науку (в широком спектре от философии – до генетики и статистики). И ведь во многих вопросах он пытался разбираться самолично, руководствуясь, прежде всего критерием политической целесообразности, хотя Симонов отмечает и известные личные вкусовые пристрастия вождя. В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино, в силу его наибольшей массовости.

Сталин с явным удовольствием играет свою роль верховного судьи, обладающего беспелляционным правом и казнить, и миловать (присуждение Сталинской премии первой степени Н. Злобину за роман "Степан Разин", который понравился Сталину, несмотря на то, что у органов имелся компромат на автора по его якобы сотрудничеству в концлагере)

Актерство Сталина оказывало большое гипнотическое воздействие на окружающих:

- время удлинилось и казалось невыносимо тягучим: Сталин растягивал слова, многие слова говорил намеренно тихо, чтобы стояла звенящая тишина;

- "как он говорил, *вцепившись глазами в зал*, — все это привело всех сидевших к какому-то *оцепенению*, частицу этого оцепенения я испытал на себе".

Интересны и примеры Симонова, когда он показывает Сталина как человека со слабостями или в моменты жестких потрясений:

- "Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического, сиюминутного значения, оценками, которых он несколько не стеснялся и не таил их".

- Симонов приводит рассказ маршала И. Конева: "В первые дни войны, в первые ее недели, когда он почувствовал, что происходит что-то не то, ощутил утрату волевого начала оттуда, сверху, этого привычного волевого начала, которое исходило от Сталина. Да, у него было тогда ощущение, что Сталин в начале войны растерялся. И второй раз такое же ощущение, еще более сильное, было в начале Московского сражения, когда Сталин, несмотря на явную очевидность этого, несмотря на обращение фронта к нему, не согласился на своевременный отвод войск на Можайский рубеж, а потом, когда развернулось немецкое наступление и обстановка стала крайне тяжелой, почти катастрофической, Сталин тоже растерялся".

Конечно, Симонов чувствовал и свою ответственность, и вину – за участие в некоторых сталинских акциях: "многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью".

Он рассказывает лишь о двух случаях (оставляя в умолчании остальные). Первая – конъюнктурная пьеса "Чужая тень" (по заказу Сталина – против низкопоклонства перед Западом). Оправдываясь, он говорит, что "низкопоклонство" действительно отчасти всегда присутствует в нашей жизни. И это "некое зерно правды" было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечитать эту

стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу (ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек), которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому *самоизнасилованию*. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило".

Второй повод для самообвинений – политический памфлет против Тито (прямое поручение товарища Сталина) – эта статья, за которую Симонову также стыдно: "не украсившей ни моего жизненного, ни моего журналистского пути".

Вместе с тем, он не стыдится своих строк в ноябре 1941, когда написал: "Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем" (Суровая годовщина). Симонов отмечает: "то значение, которое имел для нас Сталин в тот момент, когда писались эти стихи, мне не кажется преувеличенным в них, оно исторически верно".

Подобная амбивалентность – не исключительное качество Симонова, а чувства многих людей. Может потому, что репрессии не затронули их семьи и с тем временем связаны самые прекрасные годы их жизни – юность, которая всегда и у всех – жизненный цвет, да и победителей, как известно, не судят. Может быть потому Симонов повесил портрет Сталина у себя в кабинете: "При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил. Это был не сталинизм, а скорей нечто вроде дворянско-интеллигентского гонора: вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит".